

Три царицы под окном

Автор:

Вера Колочкова

Три царицы под окном

Вера Александровна Колочкова

Кабы я была царицей... Так мечтали три сестры Тамара, Соня и Вика. Только младшие могли уноситься в грезы сколько угодно, а старшая, Тамара, все свои мечты откладывала на потом: вот вырастит сестреноч-сирот, тогда и заживет для себя, тогда и грезы ее начнут сбываться...

И вот одна из младших сестер выдана замуж, вторая отселена в квартиру, доставшуюся по завещанию доброй старушки. Можно начинать жить для себя! Тамара дает объявление о том, что ищет мужчину для создания семьи... И вскоре весь двор уже видит ее с мужчиной под ручку. Ну что же? Наконец-то здравствуй, счастье? Или придется еще немного подождать?..

Вера Колочкова

Три царицы под окном

© Колочкова В., текст, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

* * *

Вздрагнув, Соня в который уже раз открыла глаза, вытаращила их в темноту, прислушалась. И даже голову подняла с подушки. Нет, сколько можно уже себя изводить? Все равно ж не заснешь под эту сердечную свистопляску, которую она сама себе устроила. Вон как оно, бедное, бухает в глубине организма, сотрясая его глупой мистической лихорадкой. Смешно, честное слово. Ей-богу. Со стороны посмотреть – самой стыдно. Лежит глубоко за полночь взрослая девица в своей постели, в своей почти уже собственной квартире, прислушивается к подозрительным ночным шорохам...

На кухне в этот момент и впрямь что-то пискнуло тоненько, потом заскреблось, потом прошлось легким ветром по бамбуковым висюлькам, символически отделяющим кухню от комнаты. Соня замерла, сглотнула забившееся сердце, нащарила кнопку маленького допотопного ночника, сиротливо пристроившегося в изголовье. Хотя толку от него, от ночника этого... Сразу тени подозрительные побежали к окну, старинный буфет в углу высветился сердитой горбатой горою, и даже, как ей показалось, листья фикуса в кадке у окна вздрогнули в едком недовольстве – ишь, нервной какой оказалась их новая хозяйка...

Нет, не любила ее эта квартира. Не принимала никак. Отторгала всеми возможными способами. Тосковала, наверное, по прежней своей хозяйке, Анне Илларионовне, отошедшей полгода назад своей умудренной долгим земным опытом девяностодвухлетней душой на небеса. Не к месту была среди этих старых вещей Соня. Может, надо было их вынести отсюда вообще, вещи эти? Надо было, конечно, только рука не поднялась. Да и Томочка, озабоченная своей неугомонной страстью к «ничегоневыбрасыванию», ей бы этого не позволила...

Тихо вздохнув, Соня решительно откинула одеяло, прошлепала по старому, в некоторых местах совершенно уже неприлично шершавому и занозистому паркету к выключателю, зажгла большой свет. Могучая хрустальная люстра-старуха загорелась тускло и нехотя, качнулась тяжелыми, пыльно-серыми, как седые клоки волос, висюльками – так просыпается человек, разбуженный чужой бестактностью и явно демонстрирующий свое этой бестактностью недовольство. Соня даже улыбнулась ей наверх просительно – извините, мол, меня, дорогая люстра, великодушно. Побеспокоила вас среди ночи. А что делать? На кухне вон что-то пищит и скребется... Надо ж проверить, хоть и страшно...

На кухне, что вполне естественно, никого и не было. Расхлябанная створка форточки гуляла себе под напором августовского ветра, производя те самые попискивания и поскребывания. А может, и не от ветра она гуляла. Может, это

дух усопшей Анны Илларионовны ее туда-сюда тягал, влетал и вылетал обратно, растворяясь в прохладной сырой темноте августовской ночи. Вполне может быть. Не просто ж, поди, вот так, за здорово живешь, взять и покинуть привычную территорию, на которой протекла вся долгая земная жизнь...

Перекрестившись неумело и торопливо, Соня взгромоздилась сначала на старый табурет с дырочкой посередке, потом коленкой оперлась о подоконник, притянула створку форточки на положенное место. Странно, какие высокие окна в этой квартире. И подоконники широченные. Вот у них, например, с Томочкой дома все было наоборот – протяни руку, и достанешь до форточки. А о подоконниках и говорить нечего – не было их вообще как таковых и в помине. Томочка, большая любительница всяких горшочно-мещанских растений, помнится, очень всегда страдала по этому поводу...

Ну вот. Теперь, кажется, порядок. Теперь можно уснуть, наверное. Хотя сна – ни в одном глазу. Весь в мистический переполох обратился. Жаль, она курить не умеет. Можно было бы постоять у окна, красиво и грустно пуская дым тонкой струйкой на выдохе. И посмотреть в темноту печальными глазами. Как Анна Каренина, например. Хотя нет, при чем здесь Анна Каренина – она вообще опий курила, насколько ей помнится. Или не курила? Или не опий? Или просто так вовнутрь принимала, для успокоения раненой женской души? Ничего себе... Как же она не помнит уже ничего? Надо будет перечитать, обязательно перечитать...

В последнее время Соня мало читала. Не удавалось как-то. Времени не было. Все заботы одни – то переезд от Томочки сюда, в эту «нехорошую» покойной Анны Илларионовны квартиру, то сессия в вечернем институте, на которую, как обычно, с работы не отпустили, то еще суета какая-нибудь, жадно забирающая драгоценное «читабельное» время. Не любила она эту суету. Будь ее воля, так бы и сидела с книжкой в обнимку там, за шкафом, в их старой однокомнатной квартире. А Томочка, укладываясь спать, ворчала бы себе уютно, проклиная свою несчастную сестринскую судьбу, подсунувшую ей на руки после смерти матери двух сестренок-малолеток – ее, стало быть, Соню, да младшую, Вику... И еще, мол, что она, Соня, как есть вся в мать пошла – сроду сама себе судьбы не устроит, а только и знает, что в книжку пялиться, и все-то на ней, бедной Томочке, в доме держится. А потом, зевнув и вздохнув устало, уже из-под одеяла, Томочка бы обязательно добавила – хорошо еще, что, мол, Вика свою судьбу довольно самостоятельно соблюла – выскочила замуж хоть и за придурка, но зато вполне обеспеченного...

Взглянув на старые кухонные часы-ходики, Соня всполошилась – ничего себе, три часа уже! Спать всего ничего осталось! До работы ей теперь далеко добираться, вставать надо ни свет ни заря...

Однако, как она ни старалась, сон не шел. Наоборот, очень захотелось похныкать, оплакать как-то свое самостоятельное одиночество, приспособиться к нему, попробовать на соленый вкус. Отметить, одним словом. Другие отмечают начало самостоятельной жизни шампанским, а она вот так – слезами. Какая разница, как отмечать? Она ж не горько будет плакать, а так... чуть-чуть. Горько ей нельзя, иначе ангел-хранитель расстроится. А он уже старенький, ему вредно.

Она и сама не помнит, откуда и когда к ней пришла такая уверенность, что у нее именно такой ангел-хранитель – старенький. Вот интересно, ангелы вообще стареют или нет? Наверное, стареют, раз она его таким себе представляла. С седыми длинными волосами, в белом рубище, с двумя унылыми, пожелтевшими от времени крыльями за спиной... Наверное, ему и поднимать-то их уже трудно, чтобы простереть над ней лишний раз. У других ангелы молодые и резвые, и распахивают свои упругие белые крылья легко и весело, защищая своих подопечных, а у нее вот такой – старенький. Какой уж достался. Зато умный! И глаза у него грустные, очень мудрые и все про Соню понимающие. Пожалуй, она даже и плакать не станет. Лучше улыбнется тихонько да за Томочку порадуется. Может, и впрямь она теперь свою личную жизнь устроит?

Личная Томочкина жизнь была у них, можно сказать, притчей во языцех. Сколько себя Соня помнит, столько помнит и Томочкины причитания по поводу отсутствия этой самой личной жизни. Нет, вообще-то она их с Викторией никогда ни в чем не упрекала. Ну, может, так, иногда, походя. Под плохое настроение. Даже и упреком это было назвать нельзя, она просто проговаривала вслух свои грустные мысли, и все. Она очень добрая, их Томочка. Ей, наверное, так легче было жизненные трудности переносить, грустные мысли вслух проговаривая. Она даже, бывало, и маму покойную вслух поругивала – умерла, мол, скинула мне на руки свой приبلудный выводок... Вика однажды правда возмутилась, продемонстрировала ей свое недовольство насчет «приبلудности», и Томочка очень долго удивлялась, и пожимала плечами, и обижалась совершенно по-настоящему – что я такого плохого сказала? Как оно есть, так и есть... Я, мол, законная родилась и отца своего хорошо помню, а вы как есть обе приبلудные, неизвестно от каких поэтов да писателей рожденные...

«Поэты» и «писатели» произносились Томочкой с откровенным презрением – несерьезные вроде того люди. Она и про маму так же говорила – несерьезная была женщина. Хотя и не без горечи говорила. И не без дочерней любви. Соня все равно слышала, слышала эту любовь в ее голосе! А если уж и говорить про мамину несерьезность... Ну какой такой особенной серьезности, скажите, можно требовать от женщины-поэтессы? Или, вернее, от женщины, считающей себя поэтессой, что, по сути, одно и то же... Сейчас она это очень даже хорошо понимает. И журнал «Юность» с напечатанными мамиными стихами бережно хранит. И тетрадки с не напечатанными нигде стихами – тоже. Шесть толстых школьных тетрадок в ломающихся от времени коричневых коленкорových обложках. Томочка в пылу жизненного отчаяния их выбросить однажды хотела, но Соня не дала – прибрала в свое детское хозяйство. Хотя стихи, если честно, были так себе. Много любви, много горя, много страданий, много всякого женского надрыва-обреченности. Сплошные «думаю о тебе», «нет тебя со мной» да «слишком много во мне тебя». Но Соня все равно их любила – они же не чьи-нибудь, а мамины! А фотография мамина в журнале «Юность» неудачная какая-то вышла – в глазах смертная тоска вперемешку с излишне-карикатурным (прости, мамочка!) любовным отчаянием. Очень много тоски, очень много отчаяния. Да еще и подпись – Амалия Тараканова. Ну что это за фамилия для поэтессы? Даже похвастать перед кем журналом этим неловко. По всей видимости, не везло маме с личной жизнью, как и Томочке. Хотя Томочка про нее говорит – сама виновата. И вообще, мамина жизнь – это история отдельная. Соня ее по крупицам, можно сказать, собирала, клещами из Томочки правду вытаскивала...

Сама она маму помнила плохо. Странно – она ж вроде большая девочка уже была. Восемь лет ей исполнилось, когда мама умерла – возраст для ребенка уже сознательный. И все равно не помнит... Так, обрывки какие-то несуразные зацепились в памяти. Кашель мамин помнит постоянный и надрывный, дым от сигарет... Еще платок ее помнит – темный, павловопосадский, с синими цветами по полю. И долгое стояние у окна все с той же дымящейся сигаретой. И нервный стук пишущей машинки по ночам...

А еще она помнит, как однажды ввалился к ним в квартиру веселый дядька с усами, затряс радостно перед маминым лицом этим вот самым журналом «Юность», в котором стихи ее были напечатаны. Мама схватила журнал в руки, потом заплакала, затряслась вся, обняла дядьку, поползла по нему вниз... А потом дядька долго держал Вику на коленях, улыбался умильно. И улыбка сквозь усы просвечивала ненастоящая какая-то, будто приклеенная. Потом, через несколько лет, мамы уж и в живых не было, Томочка рассказала Вике – это

отец, мол, твой тогда приезжал... А Вика и не запомнила его даже. Тогда, в тот вечер, Томочка их с Викой быстро собрала-одела да гулять увела. А на улице, между прочим, градусов тридцать мороза было...

Они тогда долго гуляли по стылým улицам, и вперегонки бегали, и с горки катались, и в «царицу» играли... Была у них особенная игра такая, Томочкой придуманная. Начинала ее обычно Томочка, призывно декламируя для них с Викой первую пушкинскую строчку – кабы я была царица... Ну а дальше уже шло все само по себе, кто во что горазд. И сказочные однобокие мечтания «трех девиц под окном» про всякие там «наткала бы полотна» и «родила богатыря» послушно отступали в сторону, давая дорогу их неумным фантазиям. Вика, когда совсем маленькая была, очень хотела, чтобы ей как сказочной царице предоставили полный комплект девчачьих удовольствий – всю игрушечную витрину из магазина «Детский мир», например. Или всю тележку мороженого на улице. Чтоб было много-много. С возрастом игрушки и мороженое трансформировались уже в нечто более материально существенное, но принцип «много-много» все равно оставался неизменным. Много всякой одежды, много всякой еды, много колечек-сережек-бусиков... Томочка всегда над этим Викиным «много-много» подсмеивалась, ограничивая свои «царицынские» притязания «хорошим большим домиком с садиком», присутствием в нем самого царя как такового да бегающими по садику детишками. Вписывалась, можно сказать, в пушкинскую концепцию относительно девичьих мечтаний про «родила б богатыря». Хорошая бы из Томочки получилась царица. Да и из Вики по большому счету – тоже... А вот у нее, у Сони, с царскими проблемами дело обстояло гораздо хуже. Когда подходила ее очередь объявлять о своих желаниях, дальше первой фразы «...кабы я была царица» дело не двигалось. Она напрягалась изо всех сил, хлопала глазами, морщила лоб и не могла выдать ни одной, даже самой захудалой мечты. Как-то смешно было мечтать о вещах да вкусностях, о копченой колбасе, например, или о торте «Наполеон», и уж тем более – о хорошем большом домике. Она и сама не знала, о чем мечтать. О таком, чтоб можно было в руках подержать да глазами увидеть. Зачем его держать и видеть, если оно... уже есть. Всякое-разное. Там, в голове. В фантазиях, в представлениях. Не могла же она объяснить сестрам, как оно там постепенно сложилось, наслоилось из множества прочитанных книг, пережилось, испробовалось на вкус вместе с книжными героями и героинями, прошло через нее насквозь той, книжной, жизнью. А по-другому она читать просто не умела. Она не читала, она там, внутри, жила. И это было главное. А что происходило снаружи – шло будто вторым планом, надоедливým, суетливým, исполненным серыми буднями, бедной невкусной едой, тяготами их полунищенского существования... Да бог с ним, с этим существованием! Можно

все перетерпеть легко и просто, когда знаешь, что в доме есть огромный книжный стеллаж во всю стену, и там столько всего... Столько...

А кстати, о книгах! Надо завтра же из кожи вон вылезти, а всю библиотеку сюда перевезти! Иначе Томочка быстро от нее избавится – обязательно затеет ремонт и избавится. У нее и так в последние дни уже «руки чесались» – не терпелось квартиру привести в порядок да начать, наконец, личную жизнь устраивать. Последние пять лет она только об этом и мечтала, все пасла свою подопечную Анну Илларионовну с ее квартирным завещанием, чтоб ее, Соню, наконец с рук спихнуть, все жила в своем отсроченном гедонизме, низводя их быт до совершеннейшего экономического абсурда и приберегая все лучшее на потом, на долгожданное устройство гнездышка для вожденной личной жизни... Что ж, пусть поживет, как ей хочется. Она и правда заслужила. Пусть ее гедонизм житейский наконец наступит. А она, Соня, даже и обижаться не будет на Томочкины последние слова о том, чтоб они с Викторией про нее как есть забыли, что все сестринские обязательства она перед ними выполнила и с лихвой перевыполнила... Не будет... Надо только книги успеть забрать...

Сон наконец тяжело и сладко опустился на веки, погладил по голове теплой рукой. А может, это старенький ангел поднял над ней свое крыло. Соня всегда чувствовала, до самого последнего момента осознавала эту грань сонного перехода в иной мир – она была особенной, будто качаешься в гамаке высоко над землей, и в небо не улетаешь, и на землю не падаешь... Сквозь это ласковое покачивание снова послышался знакомый шорох, будто потерлись друг о друга потревоженные легким ветром бамбуковые висюльки в кухонном проеме, но она все равно не стала открывать глаз. Пусть. Если даже это дух Анны Илларионовны прилетел – пусть. Что он ей сделает, в конце концов? И вообще, она хорошая была старушка... Вредная, конечно, но хорошая... И квартиру вот Томочке все ж таки оставила...

* * *

Лицо после нанесенной на него и смытой дорожкой маски лучше не стало. С чего бы ему лучше становиться, интересно? Синяка на скуле все равно никакой маской не изведешь... И темные круги под глазами тоже не спрячешь, и бледную кожу... «У вас, мамаша, очень измученный вид, однако. Вы что, недосыпаете? – заботливо поинтересовалась пожилая врачиха из детской поликлиники, когда она вчера заявила с Сашенькой к ней на прием. – Вроде ребеночек у вас

здоровенький... Может, вы решили на диету сесть? Смотрите, мамочка, так и до нервного истощения недалеко... А это ребеночку вредно...» Будто она и без врачихи не знает, что вредно! Не сама ж она себя довела до этого нервного истощения, ей-богу...

Еще раз осторожно потрогав набухший синяк на скуле, Вика тряхнула головой, пытаясь уронить волосы на щеки так, чтоб синяка не было видно, потом снова глянула на себя в зеркало исподлобья. Нет. Как ни старайся, все равно выглядывает. Если только замазать чем-нибудь... Завтра же гулять с Сашенькой надо... Вадим требует, чтоб она непременно соблюдала для сына строгий режим дня – кормление, сон, прогулки...

Вспомнив о Вадиме, она тут же напрягла шею, как норовистая лошадь, вздернула головой, отчего прямые пряди волос взметнулись над лицом черной гривой и свалились на плечи, снова открыв для обозрения всю синюшную «красоту». Вот сволочь какая, этот ее так называемый муж! Да если б она знала...

В комнате вдруг проснулся и закричал Сашенька, словно почувствовал на расстоянии нечаянный ее всплеск эмоций. А может, и правда почувствовал. Дети, говорят, материнские настроения сразу через себя пропускают. Соскочив с пуфика, она метнулась тонкой тенью в соседнюю со спальней комнату – там Вадим оборудовал для Сашеньки детскую. Красивая получилась комнатка – как на картинке. Да и вся квартира была такая – как домик для куклы Барби. Розово-пряничная. Со вкусом у Вадима было не очень. Бабский был у него вкус. Сентиментальный. А он всегда только своими желаниями руководствовался, Вику и не спрашивал. Действительно – зачем ему с ней советоваться? Она ж ему никто и звать никак, получается. Одно название, что законная жена. Никакого толку от этой законности, страдание одно...

А начиналось как все красиво, если вспомнить! Точно по ее сценарию начиналось, как она когда-то себе намечтала... Пришел, увидел, засыпал цветами и дорогими подарками, через неделю в загс повел. И свадьбу скороспелую и шикарную закатил, и кольцо с бриллиантом, и шубу на плечи. После свадьбы привез в свой северный богатый город, сразу в эту вот квартиру... Сказка! Она тогда и дышать боялась, чтоб ненароком эту сказку не спугнуть. Потому что так не бывает, ей казалось. Чтобы все сразу, чтобы всего много-много. Томка тогда еще сказала – помнишь, мол, как ты в детстве хотела – кабы я была царица... Помнишь?

Конечно, она все помнила, как не помнить. И игру эту их дурацкую помнила. Кабы я была царица, говорит одна девица... Вот и накаркала сама себе девица сомнительное счастье. Лучше бы она навеки с Томкой осталась, чем так жить! Правда, и с Томкой тоже их мир не брал, чего уж там... Хорошо Соньке – ей вообще любая жизнь по фигу. Что бедная, что богатая. Сунется к себе за шкаф, заберется с ногами на старенькую скрипучую кушетку да в книжку уткнется. И все, и пропала, нет ее. Позовешь, бывало, а она поднимет на тебя глазищи свои и будто в упор не видит... Будто сквозь тебя смотрит. Страшно даже. Томка ее нелюдимкой звала. Сидит себе за шкафом и даже не слышит, как они с Томкой дурным криком друг на друга вопят. Никак Томка понять ее не хотела, не получалось у них мирно-нищенского совместного сосуществования, хоть убей.

Ну не могла она так жить, как Томка хотела, каждый кусок впрок откладывая! Противно было шмотки из секунд-хенда носить да один и тот же суп на завтрак, обед и ужин есть. С детства она этого супа наелась. Потому и в институт поступать не стала, после школы сразу работать пошла, чтоб деньги свои были, чтоб тратить их можно было здесь и сейчас, а не откладывать на светлое будущее. Работа была у нее, конечно, не ахти какая – официанткой в кафе. Но зато зарплата своя, собственная. И можно было ее на себя тратить, а не откладывать на непонятный черный день. Какой такой черный день может быть у молодой девчонки, скажите? Она ж не старуха, чтоб себе на поминки копеечки от пенсии откладывать. А Томка все зудела, зудела, учила ее экономной жизни, все требовала, чтоб она зарплату ей отдавала... Потом уж до того дело дошло, что пришлось им полки в холодильнике разделить. У нее была своя еда, у Томки с Сонькой – своя... Нет, она Томке очень благодарна, конечно, она все понимает про ее сестринскую для них с Сонькой жертвенность, но не до такой же степени! Все равно у нее не получилось бы так жить... Хотя теперь она что, лучше живет, что ли? Вот оно, все есть, много-много, а только пояись такая возможность – сбежала бы от этого «многомного» к чертовой матери...

Она поначалу и пыталась бежать. Когда поняла, какую роль ей в своей жизни Вадим отвел. И даже Томке позвонила, плакала в трубку – забери меня, мол, отсюда... Ну, хоть денег на дорогу пришли... Правда, основную причину своих слез она тогда от Томки скрыла, конечно. Стыдно было про эту причину рассказывать. Просто сказала – плохо с мужем живет. А Томка послушала ее рыдания и как отрезала – нет уж, говорит, дорогая. Раз вышла замуж, так живи как получится. Я, мол, на вас молодую жизнь положила, дайте теперь и мне пожить... Что ж, ее тоже можно понять, Томку-то. Она ведь им с Сонькой не мать, а всего лишь сестра. Могла бы вообще в детдом спровадить... Хотя после

этого звонка она сильно на нее разобиделась, конечно. Вот уже год с ней не разговаривает. Да Томка особо и не стремится к общению: с глаз долой – из сердца вон. Сонька звонит иногда, а Томка – нет. Да что толку от Соньки? Чем она ей поможет? У нее и денег-то своих нет, все подчистую Томка забирает. Правда, давно чего-то не звонила Сонька... Интересно, как у них там дела? Самой бы позвонить, да Вадим все счета телефонные проверяет... Увидит – скандал будет...

Она еще постояла над спящим Сашенькой, провела рукой по теплому детскому лбу. И сама не заметила, как крупная слеза, свалившись неожиданно, плюхнулась на детскую щечку. Сашенька вздрогнул, закрутил головой, скорчил недовольную гримаску. Хорошо, не проснулся. Шмыгая носом и размазывая горячие слезы по щекам, она тихонько попятилась назад, отступая к выходу из детской, осторожно закрыла за собой дверь. Чего это ей реветь так неожиданно приспичило? Сто лет уж не ревела. Казалось, и слез в организме не осталось, а тут на тебе, вдруг прорвало...

Поначалу она много ревела. С утра и до вечера только и делала, что ревела. Поначалу муж Вадим бил ее смертным боем – ни за что, просто так. Приучал к порядку, как он говорил. Чтоб сразу она, молодая жена, поняла свое законное место. И пойти пожаловаться было некуда и некому – город маленький, особенный такой, нефтяной-северный, а Вадим тут царь и бог... А она, выходит, по своему законному замужнему положению должна быть вроде как царицей и богиней. Кабы я была царица... Ага, как же... Царицей и богиней у Вадима была... Господи, как это мерзко-то все, как противно! Как начинаешь об этом думать, так умереть от досады хочется – как же это она так опрометчиво во все это вляпалась?

Поначалу она никак не могла всю эту ситуацию до конца просечь. Не укладывалась эта ситуация в голове, отторгалась напрочь. Очень уж ей странно было – зачем Вадим вообще этот спектакль с женитьбой устроил, если не любит ее совсем? В первый же день, как привез ее сюда, тут же и исчез на три дня. Не совсем, конечно, исчез, все же звонил изредка, на ее слезливо-недоуменные вопросы отвечал резко – заткнись, мол, и привыкай. Так надо. Чего, мол, тебе не хватает? В холодильнике полно еды, музыка всякая в доме есть, диски с киношками... Потом, когда на исходе третьего дня появился, она ему истерику закатила, конечно. Тогда он впервые ее избил – живого места на ней не было...

Это потом ее жизненная перспектива начала проясняться во всей своей жестокости. И не перспектива даже, а ничтожная роль, которую ей Вадим отвел. Роль прикрытия. Роль ширмы. Роль благополучной молодой женушки благополучного бизнесмена Вадима Орлова. А за ширмой этой... ладно бы там была другая женщина, это бы еще куда ни шло! За ширмой этой, как потом выяснилось, стоял Артур, мерзкое самонадеянное существо, ублюдок, ничтожество, дрянь... И по совместительству – первый заместитель Вадима в его преуспевающей нефтяной конторе, или как там... В акционерном обществе... Соратник по владению контрольным пакетом акций, ближайший и нежнейший друг, довольно неудачно пытающийся скрыть от чужих глаз свою порочную манерность. Хотя, как Вика потом догадалась, попытка эта была просто данью приличному обществу, не более того. Давно уже местное приличное общество про эту парочку все знало. Но обществу, как известно, всегда легенда требуется для внешнего и окончательного соблюдения этих приличий, вот оно и получило эту легенду в лице Вики, молодой жены бизнесмена Вадима Орлова...

Первые выходы в «свет» оказались для нее настоящей мукой. Мужчины разглядывали ее с веселым игривым интересом, женщины усмехались за спиной презрительно – видимо, подозревали ее в некой меркантильной договоренности... Не объяснишь же им, что никто с ней даже и не пытался ни о чем договариваться! Не сочли нужным с ней договариваться. Зачем? Лучше дать пару раз ребром ладони под печень, чтоб искры из глаз посыпались, – вот и все договоренности...

Но роль ее, как потом выяснилось, этой пресловутой ширмой вовсе окончательно не определялась. Вадим, оказывается, очень хотел иметь детей! Вот так вот. Любовь у нас порочная, а детей тоже хочется... Он так и объявил ей однажды, заявившись поутру, – давай-ка делом займемся, дорогая моя молодая женушка. Но не в постель потащил, как и предполагается при таких «занятиях», а деловито уселся за стол, достал блокнот и учинил ей полный гинекологический допрос с пристрастием об особенностях ее женского организма – когда, что, сколько дней, как регулярно... Старательно все записывал в свой блокнот, морщил лоб, ставил кружочки и крестики в календаре, смотрел на нее задумчиво и даже будто бы с теплотой. Потом произнес с улыбкой – забеременеешь, с меня причитается. Выполню, мол, любой твой каприз. А если нет – пеняй на себя. Она промолчала тогда, конечно. Она тогда уже поняла, что лучше молчать. А капризов никаких на тот момент у нее и в помине уже не осталось. Какие капризы? Живой бы остаться...

Когда родился Сашенька, Вадим был на седьмом небе от счастья. Целый месяц от них не отходил! Ей даже грешным делом показалось, что все и наладится постепенно... До сих пор перед глазами стоит эта идиллическая картинка – она в кресле кормит Сашеньку грудью, а Вадим сидит перед ними на ковре, скрестив ноги, смотрит умильно, только что не плачет. У нее в сердце даже некое подобие жалости к нему ворохнулось – ведь, если по сути, несчастный он человек...

А потом, конечно, все вернулось на круги своя. Только в эти круги добавился еще и Сашенька. Теперь она была не только ширмой, теперь она была еще и матерью его ребенка. Именно – его. То, что ребенок этот принадлежит еще и ей, как-то не обсуждалось. И в расчет не бралось. Он все устроил в своей нелегкой порочной жизни так, как ему хотелось. Только с одним обстоятельством он не мог справиться – с ее внутренним сопротивлением. Да что говорить – она и сама с этим сопротивлением никак не могла справиться, несмотря на все побои и синяки... Горел, горел в душе огонь сопротивления! Одинокими ночами строились планы побега, а также развода и раздела имущества, и была в этих планах сладкая месть за поруганное ее женское достоинство, а потом эта месть остывала, и приходило ей на смену жестокое осознание реальности – черт с ним, с разводом и разделом имущества, все равно у нее ничего не выйдет. Вадим Сашеньку отберет, а ее просто-напросто убьет да закопает где-нибудь – никто ее в этих северных краях искать не будет. В общем, все сходилось к тому, что надо бы смириться, принять все как есть и жить дальше. Она даже и сама себя уговаривала на это спасительное смирение, да только не получалось у нее ничего. Видимо, и Вадим это чувствовал, приходя в свое фиктивное семейное гнездышко на «контроль и проверку», потому и бил...

Денег он не давал ей вообще. Даже символически. Раз в неделю закупал все необходимое, раз в месяц водил по магазинам, демонстрируя перед продавщицами свою неутомимую в покупках для молодой жены щедрость, оплачивал все коммунальные счета, контролировал ее телефонные переговоры... Хотя кому ей звонить-то? Нет у нее никого, чтобы позвать на помощь. Если только с Томкой помириться, так она ей не поверит, не поймет... Она в этих делах вообще отсталая, Томка. Скажет – с жиру бесишься. Все у тебя есть, скажет, нищету на кулак не мотаешь, вот и живи, чего еще-то? Хоть бы Сонька догадалась сама позвонить...

Вдруг и впрямь захотелось поговорить с сестрой, услышать родной голос, пусть хоть издалека. Правда, потом отчет надо будет держать перед Вадимом – зачем,

мол, звонила... Да что это, в самом деле, она кто, рабыня, что ли? Уж и родной сестре позвонить просто так не может? Нельзя жить совсем без общения, в конце концов... Так с ума можно сойти...

Схватив телефон, она начала решительно тыкать в кнопки, набирая нужный номер. Потом долго слушала длинные тоненькие и жалобные гудки в трубке – ну же, Сонька, проснись... Я понимаю, у вас там тоже ночь, но аппарат же около шкафа стоит, за которым ты спишь... Томке до него далеко идти, а тебе только руку протянуть! Ну же...

– Алё... – прошелестел в трубке хриплый со сна и недовольный Томкин голос. – Але, говорите... Ну? Кто это там хулиганит среди ночи...

С досадой нажав на кнопку отбоя, Вика отбросила от себя трубку, посмотрела на нее обиженно. Интересно, а Сонька где? Почему Томка к телефону подошла? Может, еще раз набрать? Может, с Сонькой случилось что? Сроду Томка ночью к телефону не подходила... А может, она вообще уже ее, Соньку, из дому выгнала? А что, с нее станется... Иди, скажет, на все четыре стороны, раз взрослая уже... Дай и мне пожить...

Она горестно и по-сиротски пожала плечами, поднялась с дивана, подошла к большому зеркалу в спальне. Надо бы лечь хоть ненадолго, скоро уже и Сашенька проснется... Лицо вон и без того бледно-зеленое. Ну, и кто ты есть теперь, женщина с бледно-зеленым лицом и с нервным истощением? Как называешься? Бедная сирота? Содержанка? Наложница? И сама, похоже, не знаешь...

* * *

Положив трубку, Тамара недовольно пожала плечами, зевнула, чертыхнулась про себя – разбудила сволочь какая-то среди ночи... Попробуй засни теперь! И чего им неймется, хулиганам этим? И без того в жизни ни покою, ни просвету нету... Одна только работа да забота. С таким трудом с вечера уснула, и вот на тебе. Время еще и пяти нет. Ни то ни сё. И не ночь уже, и не утро...

Она снова забралась под одеяло, уютно устроила голову на подушке, смежила плотно веки, даже губами почмокала, пытаясь призвать обратно прерванный

сон. Однако не тут-то было. Голова была почти утренней, свежей, тлела первыми деловыми мыслишками. Не терпелось, видно, им, мыслишкам этим, в жизнь воплотиться. Да и то – сколько она их там накопила, мыслишек разных мечтательных... А что, может, и впрямь, хватит уже бока отлеживать? Встать пораньше, сдвинуть мебель в кучу, содрать старые обои со стен... Или повалиться еще немного? Успеется с ремонтом этим, торопиться ей теперь некуда. Все сделает как надо. Тем более все уже куплено-заготовлено, лежит по углам, своего часа дожидается. И обои красивые у нее есть, и шторы новые, и палас, и даже люстра новая куплена – три года уж в коробке на шкафу стоит. Вот устроит себе новое гнездышко и заживет со спокойной совестью. И замуж выйдет обязательно – найдет себе какого-никакого мужикашку, пусть и плохонького. На хорошего-то уж поздно рассчитывать – года не те. Ушли лучшие ее года, пролетели в заботах. Пока девчонок в люди вывела да пристроила, глянь, а уж и сороковник на носу... Да что делать – так уж вышло. Подсунула ей мама-покойница подарочек, от свечи огарочек, прости, господи, за мысли грешные.

Правда, об мужикашке можно было бы и раньше задуматься, конечно, да только куда его приведешь? Квартира у них однокомнатная, за шкафом Сонюшка спала... Вообще, она бы и не возражала, конечно, Сонюшка-то. Она спокойная, нелюдимка по породе. Мать в свое время так и не призналась, от кого ее родила. Ни ей, ни бабушке ничего не сказала. Уехала, проучилась год в своем Литературном институте, потом вернулась – беременная уже. Да бог с ней, она ее уж по всем статьям давно простила, мать свою... Попортила она ей жизнь, конечно, а все равно простила...

Вздыхнув, она даже пискнула чуть-чуть на выдохе, в который раз пожалев саму себя. Если б не досталась ей такая мать, все бы могло по-другому сложиться... Вот чего, чего ей не хватало, интересно? И отец ее любил, и дом у них был в леспромхозовском поселке самый лучший, и работать отец маму не заставлял – сиди себе дома около печки, пиши свои стихи, если уж так приспичило... Так нет же – все тосковала, все металась чего-то, все ей не так было. Томочка эти ее стихи с детства ненавидела. К другим девчонкам в дом придешь – пирогами пахнет, щами вкусными, в огороде всякий овощ свое место знает, а у них... Отец, конечно, изо всех сил старался, все хозяйство на себе тащил, а она ему вместо «спасибо» – одни стихи да истерики... Любил он ее очень. Можно сказать – боготворил. И ей, маленькой Томочке, все пытался объяснить, что мать у нее вроде как и не мать вовсе, а существо совершенно особенное, к обычным земным делам неприспособленное, что ей трудно в их некультурной глуши жить...

Ей десять лет исполнилось, когда мать от отца сбежала. Собрала ее как-то, все платьица-игрушки в большой чемодан сложила, сказала, что к бабушке в город погостить едут... И больше к отцу не вернулась. И ее не отпустила. А бабушка, мамина мать, и рада была, что ее доченька к ней вернулась... Всё тетрадки с ее стихами листала да восхищалась до слез, да отца ругала – загубил, мол, талант. И ребенка – ее, Тамару, то есть – тоже вроде как загубил. Ни к чтению вроде она не приучена, ни поэзии настоящей не понимает. Дикая совсем. Она помалкивала, но сердилась про себя – далась им с матерью эта поэзия! Пустой суп да макароны едят, а туда же, поэзия...

В общем, уговорила бабушка маму ехать поступать в Москву, в Литературный институт. А с Томочкой, говорит, я и сама тут справлюсь. У меня, говорит, пенсия есть, да и отец ей будет алименты платить. Он платил, конечно. И продукты всякие привозил. Овощи, соленья, кур битых. Он часто приезжал повидаться. На лето к себе звал, да бабушка не отпустила. А через год мать из своего Литературного института приехала – с пузом...

Перевернувшись на другой бок, она вздохнула, попыталась отогнать от себя нахлынувшие неожиданно воспоминания. Может, и правда уж не досыпать? Может, встать, делами заняться? Иначе, она по опыту знала, как окунешься в свое прошлое, так оно и затянет, и от себя уж не отпустит. Слишком тяжелое оно у нее, прошлое-то. Вот зачем тогда бабушка, скажите на милость, снова мать в Москву отпустила? Сонюшке годик исполнился, и отпустила. Езжай, говорит, доучивайся. А мы уж тут с Тамарой справимся. Сонюшку в ясли определим... Не надо было ей мать от себя отпускать! Все равно она этот свой Литературный институт так и не окончила. Приехала через год – и снова с пузом! Это, говорит, ребенок от любимого человека...

Бабушка так и не дождалась появления на свет третьей своей внучки – померла от сердечного приступа. Мать прямо с похорон в роддом отвезли. Так и остались они – четыре неприкаянных бабы в доме. Тут уж матери не до поэзии своей стало, конечно. Ладно, она, старшая Тамара, к тому времени подросла – в первых помощницах оказалась. И Сонюшку в садик отвести, и на молочную кухню сбегать, и пеленки постирать... И денег у них совсем не было. Поначалу мать колечки да сережки, какие от бабушки остались, все продала – на то и жили. А колечки у бабушки были старинные, фамильные, красоты неопикуемой. И сама она была старинного дворянского рода – до сих пор где-то фотография ее хранится. Интересная она там такая, в шляпке. На актрису Веру Холодную похожа. А больше никакой памяти, кроме этой фотографии, и не осталось. И

родственников тоже не осталось. Еще удивительно, как сама бабушка в те лихие времена выжила...

Вот Сонюшка, кстати, очень на бабушку похожа! Есть в ней какая-то скрытая статья. Иногда распрямит спину, глянет – ну как есть дворянка, ни дать ни взять! А потом вдруг испугается чего, и сразу – шась! – голову в плечи, глаза в пол, и скосбочится вся, как будто на нее рукой замахнулись. Да и от матери Сонюшка тоже много взяла. Такая же мечтательница-книжница. Хорошо, хоть стихов не пишет. Хотя кто его знает... Может, эта напасть у нее с возрастом проявится, не дай бог... Вот у Вики – у той уж точно не проявится. Та от жизни все возьмет, и сырым, и вареным. И без стихов. Такая свистопляска характерная эта Вика, не приведи господь! Только замуж выскочила, уехала, и звонит сразу – забери, мол, меня отсюда. Не понравилось, наверное, замужем жить! Еще бы. С мужиком, с ним же так... Особо не разгуляешься и характер свой не покажешь...

Зато она, старшая, вся в отцовскую крепкую породу пошла! К сорока годам так разматерела, что на мужика стала смахивать. На диету сесть, что ли... Похудеть хоть маленько, а то ни один мужикашка на нее не глянет... Ладно, это потом. Сначала ремонт в квартире надо сделать! Сто лет уж тут ремонта настоящего не было. Еще матерью, кажется, все стены да потолок прокурены насквозь...

Курила мать и правда очень много. Как она говорила – от жизненного отчаяния. Когда у них даже на хлеб денег не хватало, переходила на дешевую «Приму». Ох и вонища была в доме от этой «Примы»! Но все равно – справлялись как-то. Слава богу, хоть одному полезному занятию мать в своем Литературном институте научилась – на машинке быстро печатать. Тогда еще компьютеров не было, заказов на печатание много было... С утра и до вечера в доме – стук-стук! И ночами тоже... А хозяйственные все заботы на ней, на старшей, были. Мать в этих делах совсем уж бестолковой была. Пошли ее в магазин – истратит все деньги, какие есть. А у нее, у Тамары, полный порядок в этих делах соблюдался – могла и на малых доходах умудриться поэкономить. Где в комиссионку зайдет да на девчонок совсем даром что-нибудь прикупит, где дешевыми косточками на суп отоварится, а где и просроченные консервы можно взять – тоже почти даром... Ничего, ели за милую душу, не графья! Ну, может, по крови где-то и графья, конечно, и тем не менее... Нет, здорово она тогда насобачилась в науке выживания! Потом это даже в некую игру-забаву для нее превратилось, до сих пор от старых привычек избавиться не может. И еще у нее привычка с тех времен осталась – все впрок припасать. На будущую жизнь. Сегодня можно кое-как обойтись, а вот уж завтра... Сонюшка недавно как-то ловко эту ее привычку

обозвала... Как же это... А, вот! Отсроченный гедонизм, вот как! Умная выросла Сонюшка, начитанная... И не знаешь – то ли обижаться на нее за этот самый гедонизм, то ли нет... Вот интересно бы было на Сонюшкиного отца поглядеть! Викин-то папашка у них однажды нарисовался – ей тогда, помнится, годика четыре было... Лучше бы уж совсем не приезжал, мать не тревожил...

Она, помнится, сама тогда ему дверь открыла. Глядит – приличный дядька такой стоит, в дорогой куртке, улыбается ей. Вас, говорит, Тамарой зовут, наверное? Тут и мать в прихожую выскочила. Сначала обомлела вся, этого мужика увидев, а потом бросилась к нему – красиво так бросилась, как в кино. Он засмутился сначала, а потом тоже ее обнял – снисходительно маленько, вроде как и без особого желания. А через плечо все на маленькую Вику поглядывал, выбежавшую к ним в прихожую из комнаты...

Потом они все на кухне обедали – гостя этого нежданного принимали. Мать суетилась бестолково, блестела глазами, говорила без умолку... И все журнал к груди прижимала, который ей Борис – так того мужика звали – привез. А потом они долго меж собой разговаривали – она этот их разговор отчего-то надолго запомнила. Грустный такой разговор...

– Кого-нибудь из наших видишь, Боренька? – дрожа нервно губами, спрашивала мать.

– Да вижу, конечно... Когда бываю в Москве, всех вижу.

– И что? И кто где? Печатается кто-нибудь?

– Да какое там... Славка Петровский на рецензиях сидит, кое-как пробивается, Маша Никонова в клубе железнодорожников литературный кружок ведет. Представляешь – в клубе железнодорожников – и литературный кружок! Абсурд какой-то.

– Ну да, абсурд... Насмешка над профессией...

– А есть ли у нас вообще эта профессия, Амалия? А? Ты никогда не задумывалась? Был ли вообще мальчик-то? Может, мальчика-то никакого и не было...

– Не говори так, Боренька... Зачем ты? Я знаю, ты талантливый, и тексты у тебя замечательные...

– А толку? Толку-то никакого... Вот скажи – ты помнишь Митяя Захарчука? Ну, того, из белорусской глубинки... Помнишь, как преподаватели наши с ним носились?

– Да помню, помню... И что?

– А то! Недавно встретил его – дворником работает. Опустился весь, поник, глаза грустные... Нет, несчастные мы все люди, Амалия... И институт этот... лучше бы и не было его вообще! Учились, планы строили, сверкали талантами... А толку? В стол писать? Я вот, например, не хочу...

– Но как же, Боренька... Вот же, в журнале повесть твоя студенческая вышла... И мои стихи...

– Ну, вышла. Ну да. И стихи твои вышли. А только журнал этот, учти, единственный в своем роде. Он весь посвящен только творчеству наших студентов да недавних выпускников. Один раз выпустили, больше не будут. Сами, мол, пробивайтесь. А как, как пробиваться-то? Чтобы пробиваться, надо ж еще жить на что-то. Есть, пить, семью кормить. Мне вот жена второго недавно родила... Заработок постоянный надо иметь, одним словом... Замкнутый круг у нас получается, дорогая Амалия! Так что, может, и хорошо, что ты с четвертого курса ушла. Нет диплома, нет и профессии. И терять нечего. Не так обидно...

Тамара помнит, как откинулась на стуле и смертельно побледнела мать после этих его слов. И прикрыла на минуту глаза. Потом, будто внутренне собравшись, снова вскинулась, плеснула в гостя лихорадочным блеском из глаз:

– Ну чего мы все о грустном говорим, Боренька? Вот, посмотри на лучшее мое произведение, на Викушу мою... Тебе ведь интересно, Боренька? Викуля, беги сюда! – крикнула она в комнату.

Борис осторожно взял приковылявшую и сильно засмущавшуюся Вику на руки, посадил себе на колени, потряс неумело. Потом виновато глянул на мать:

– Какая большая уже... А у меня тоже одни девчонки... Одной восемь, другой почти два годика... Кручусь, как могу, знаешь, чтоб все семейство прокормить! Тут уж не до талантов да не до «божьих даров», сама понимаешь...

– Я понимаю, Боренька. Я все понимаю. Да ты не думай, у меня все хорошо! Живем, как видишь, я дома работаю, заказов много...

– А... фамилия у нее какая? – осторожно погладил он девочку по голове.

– Не бойся, не твоя. Тараканова она. И отчество тоже не твое. Я ее Владимировной записала. Чтоб у всех девчонок фамилия одна была, да и отчество тоже. Мой первый законный муж был Владимир Тараканов... Я и себе при разводе его фамилию оставила. С моей-то, с Гольдберг, далеко не уедешь, сам понимаешь. Нигде и ни одной строчки не возьмут...

– Пишешь что-нибудь?

– Пишу...

– Почитаешь?

– Ладно... Попозже... – тихо проговорила она, стягивая с колен гостя Вику. Потом, обратившись к Тамаре, неприкаянно сидящей за столом, проговорила просительно: – Доченька, может, ты погуляешь с девчонками? Еще не так поздно вроде... Пожалуйста, Томочка...

Ну что ей тогда оставалось делать? Конечно же, собрала девчонок, пошла гулять по морозу. А в душе так было мать жалко! Она ж большая уже девочка была, все понимала... Да на ее бы характер! Да она бы этого Бориса вообще выгнала б от порога! Ишь, заявился... Будь ее воля, она бы вообще всем запретила всякие там стихи да повести писать! Только мозги себе всякими переживаниями засоряют, ей-богу! Работать надо, жить, детей в нормальных условиях растить, а не присобачивать целыми днями строчку к строчке, чтоб складно-ладно было...

Потом, вернувшись домой, они Бориса уже там не застали. Мать стояла у окна, курила молча. Тамара и девчонок спать уложить успела, и посуду перемыть, а

мать все стоит, все курит...

- Мам... Ты бы не изводила себя так, а? - обернулась к ней Тома от раковины. - Ну что ты, ей-богу... Борис-то этот ведь прав - никому сейчас стихи твои не нужны! Вон жизнь какая у всех трудная, а ты - стихи...

- Ну что ты говоришь, доченька... Глупенькая ты какая... - тихо прошелестела от окна мать. - Как это стихи никому не нужны? Мои, может, и правда не нужны, а вообще...

- Да и вообще - тоже! - загорячилась Тамара, проворно перетирая чайные чашки полотенцем. - Ну ты вспомни, вспомни, как мы хорошо жили, когда ты за отцом замужем была! В доме все есть, и еда всякая, и платья он тебе покупал новые, красивые такие! Ну чем плохо? Помнишь?

- Помню, дочка. Конечно, помню. Но что сделаешь, если душа высоты требует...

- О господи... - только и вздохнула Тамара, безнадежно махнув рукой в материнскую спину. - Далась тебе эта высота... Ну что нам ее, на хлеб намазывать, что ли?

- Не хлебом единым человек сыт, Тamarочка, - резко повернулась к ней от окна мать. - Запомни это, пожалуйста! На всю жизнь запомни! И никогда не пристраивай никого под свое мировосприятие! Люди все разные, Тamarочка!

- Ага. Разные. А только жрать всем одинаково хочется.

- Хм... - грустно усмехнулась мать, сложив худые руки калачиком под грудью. - Жрать, говоришь...

Потом, помолчав, продолжила:

- Мы сейчас с тобой, Тamarочка, похожи на двух людей, стоящих под кроной огромной березы... Один говорит - посмотри, какая крона шикарная! Какую она тень отбрасывает, как красиво шелестят листья над головой... А другой деловито похлопывает по стволу, щурится и отвечает - ага, мол, шикарная береза... Целых пять кубометров дров...

– Ну и правильно он говорит про эти кубометры! Зато ими можно сколько народу обогреть! А тот, который кроной восхищается, как замерзнет, тоже ведь греться прибежит! Не так, что ли?

– Да так, так... Куда ж он денется, доченька? Прибежит, наверное. Ишь, какой у нас с тобой невзначай философский спор вышел... Устала я что-то. Спать пойду...

После отъезда Бориса мать совсем затосковала. Все реже стал слышен по ночам перестук пишущей машинки, все чаще застывала она у окна с неизменной сигаретой в руке. Таяла, сохла на глазах, как свечка. Потом в больницу попала, да оттуда уже и не вышла – обнаружилась у нее раковая опухоль в легких. Врачи, узнав про ее домашнее многодетное состояние, домой помирать ее не отпустили. Так и отвезли горемычную прямо из больничного морга на кладбище...

Осталась Тамара одна с малыми сестренками на руках. Двадцать лет ей как раз исполнилось. Возраст не то чтобы самостоятельный, но, как сказали тетки из органов опеки и попечительства – дееспособный. Предложили ей, конечно, девчонок в детдома определить, да она отказалась. Решила, сама справится. Тем более специальность у нее к тому времени уже была – только-только успела медучилище окончить. Соне было восемь тогда, а Вике шестой годик пошел. А еще те сердобольные тетки из органов опеки предложили ей работу в социальной защите – за инвалидами да старичками ходить. Зарплата не ахти какая, но все больше, чем у медсестры. Да и времени свободного у социального работника тоже побольше – можно всегда домой забежать, проверить, как там девчонки дома хозяйничают. Тамара согласилась. Рассказывали, что иногда этим самым социальным работникам, кто поласковее да попроворнее, старички даже и квартиры, бывает, завещают...

Правда, ей с такими старичками не особенно везло. Другим везло, а ей нет. Везде в последний момент родственники находились, прямо как с неба падали. Нет их и нет, а потом, смотришь, целая куча объявилась. Это уж потом ей с Анной Илларионовной поработать посчастливилось, если можно так сказать. Да и то – сколько она ее пасла... Лет семь-восемь, наверное? Тоже всякого натерпелась. И девчонок к ней таскала, и сама только что не жила у нее. Со всеми соседями перезнакомилась, почти родная стала. А она живучая оказалась, эта Анна Илларионовна! На вид – настоящий божий одуванчик, а до своих девяноста двух лет дотянула-доскрипела по-честному. Родственников у нее совсем никаких не было – она специально интересовалась этим вопросом,

прежде чем во всю эту авантюру влезать. И нотариуса прямо на дом к ней приволокла, когда старушка совсем уж концы отдавать начала. Правда, Сонюшка ей здорово помогала, конечно. И даже сердилась, когда она свои квартирно-меркантильные разговоры с ней заводила. Вроде того – при чем тут завещание, ей и без него старушку жалко... Зато теперь при квартире осталась! И ей, Тамаре, окончательно руки развязала. Она так Сонюшке третьего дня и заявила – все, мол, сестренка дорогая. Переселяйся туда, живи самостоятельно. А про меня забудь. Устала я от вас. Что могла, то сделала. И не приходи, и не звони даже. Пора уж и мне как-то свою жизнь устраивать. Заслужила... Сколько нервов, сколько терпения, сколько слез было потрачено, чтоб девчонок на ноги поднять! А как они без денег бедствовали – это же вспомнить страшно! Если б не ее умение каждый рубль экономить, да все до копейки рассчитывать, да впрок откладывать, что бы с ними было, интересно? Это еще хорошо, что отец ее им помогал... Денег не особо давал, правда, но каждую осень обязательно и картошки на зиму привозил, и овощей всяких. Да и на деньги, наверное, тоже бы не скупился, если б не новая его жена. Она, говорят, слышать не могла про бывшую жену-поэтессу, прямо исходила вся на нервы! А он, когда приезжал, обязательно на мамину могилку захаживал... Один раз она даже увидела, как отец, выпив в годину на кладбище полстакана водки за упокой маминой души, заплакал... И впрямь, любил он маму, наверное. Хотя и в бобылях долго не сидел – через год после маминого бегства женился. Деревенское хозяйство, оно ж тоже женских рук требует, куда деваться-то? И даже как-то сыночка с собой привез – с ней, с Тамарой, познакомиться, значит. Братец все-таки. Лет восемь ему было. Хороший парнишка, крепенький, серьезный такой. Одногодка Сонечкин, получается. Сонечка с Викторией сразу набычились на него – заревновали вроде. А Вика – та вообще подошла да давай по нему кулачками колотить – уходи, мол, это наш дом... Беда с ней, с этой Викторией! Такая боевая росла – оторви да брось! Да и потом тоже концерты скандальные ей выдавала... Хорошо, хоть замуж ее удалось спровадить. Пусть теперь живет как хочет. И не жалуется. Хотя... Мужик ей действительно попался какой-то сомнительный. Нет, вроде все при нем – и красивый, и богатый, а все равно какую-то неприязнь вызывает, подозрение... Ну да ладно. Ее дело. Какого уж бог послал. Пусть живет. Главное, замужем. Вот у Сонечки в этом деле, с женихами то есть, совсем никак. Такая нелюдимка выросла, беда с ней. Двадцать восемь лет девке, и все одна да одна. Если б не квартира Анны Илларионовны, так бы и просидела вот тут, за шкафом, с книжкой в обнимку. Ни себе личной жизни, ни сестре старшей. Зато теперь...

Потянувшись крепко, Тамара села на постели, обвела глазами комнату. Сырое августовское утро хмуро заглядывало сквозь старые, до основания застиранные тюлевые занавески, нехотя вползало в комнату, будто не желая освещать

дневным светом ее бедную обстановку. Ничего-ничего! Она сейчас встанет, наведет тут полную красоту. Все припасы в ход пойдут! Зря, что ли, она столько лет к новой жизни готовилась? И на окнах новые шторы будут, и ремонт она сделает... Пока легкий такой, косметический, а потом, как мужикашка здесь появится, можно и о капитальном ремонте задуматься... И даже наряды новые у нее в шкафу висят, ни разу не надёванные! Тоже своего светлого дня дожидаются. Хотя из моды уж вышли, наверное... Господи, неужели и на ее улицу наконец счастливый праздник пришел?

* * *

Будильник у Анны Илларионовны был старый, железный, с пипочкой-крышечкой звонка сверху. Такие будильники рисовали раньше в детских книжках да в школьных стенгазетах – позор, мол, лентяям и лежебокам... Какой уж там позор, ей-богу! Звонил будильник так, что и мертвого разбудит, а не только какого-нибудь лентяя-школьника. Или, по меньшей мере, заикой на всю жизнь сделает. Проснувшись под эту нервно-паралитическую канонаду, Соня пружиной подскочила с дивана, схватилась за сердце, потом с досадой опустила руку на яростно дребезжащую пипочку, будь она неладна. Тут же подумалось – надо бы сегодня новый будильник купить...

Хорошая, конечно, мысль – купить! На что купить-то? Список необходимых покупок явно перевешивал имеющиеся на сегодняшний день ее материальные возможности. И то надо, и это... Экономная Томочка, провожая в самостоятельную жизнь, никакого «приданого» ей не выделила – сказала, у Анны Илларионовны все есть. Обойдешься, мол, на первых порах. А потом сама купишь, что тебе захочется. Но как-то не хотелось «обходиться», например, ветхим старушкиным постельным бельем... Наоборот, хотелось освободиться от ее интимного хозяйства побыстрее, что Соня и сделала в первый же вечер. Шепотом прося у старушки прощения, сгрузила ее немудреные пожитки в несколько больших мешков и вынесла восвояси, то бишь на помойку. Тут же к мешкам этим прилипли всякие хмурые тетки бомжеватого вида, начали вытряхивать их содержимое да рассматривать-оценивать критически. Что ж, не сгинет в никуда старушкино имущество, значит. Все впрок пойдет. И то хорошо.

В ванной, стоя перед раковиной, она долго решалась – откручивать ей кран с горячей водой или нет. Вчера он сильно капризничал, проворачивался в руке, и ей основательно пришлось помучиться, чтоб укротить бьющий из него кипяток.

Нет, лучше не рисковать. Можно и холодной водой умыться. Вот уж вечером... А что, собственно, вечером? Сам по себе в квартире сантехник появится, что ли? Или, как Томочка говорит, «какой-нибудь мужикашка»? Откуда? С неба упадет?

Усмехнувшись грустно своему отражению в зеркале, она зачесала густые черные волосы назад, собрала в заколку. Ну да, не красавица. Но и не страшилка. Обыкновенное лицо без косметики, глазастое, строгое. А может, ей кажется, что строгое. Томочка, например, говорит, что у нее лица будто вообще нет. Будто оно у нее наоборот перевернутое – к людям задом, а вовнутрь себя – передом. И что она с таким лицом, которое ко всем задом повернуто, так и будет век в девках куковать, ни один «мужикашка» к ней и на пушечный выстрел не приблизится... Ей даже захотелось похихикать тихонько над этими Томочкиными странными образами, но времени уже не оставалось. Надо быстро одеться да позавтракать чем-нибудь успеть...

Выйдя на кухню, она достала из холодильника два яйца, пачку масла, потом долго разглядывала дно стоящей на плите тяжелой чугунной сковородки. Завтракать вдруг расхотелось. Нет, желудок вроде и не прочь был принять в себя утреннюю порцию еды – не в этом было дело. Просто захотелось и новую сковородку купить тоже. Вот же незадача – сроду она не подозревала в себе такой снобистской брезгливости... В очередной раз мысленно попросив прощения у Анны Илларионовны, она отрезала себе большой ломоть бородинского хлеба, намазала его маслом и, на ходу жуя, начала натягивать джинсы с водолазкой. Все. Пора выходить. Здравствуй, новый день самостоятельной жизни.

На улице накрапывал дождь. Редкие утренние прохожие зябко жались под своими зонтами. Женщины в основном. Отчего это, интересно, в такую рань на работу едут в основном женщины? А что, мужчины в это время еще благородно спят, что ли? И на остановке вон стоят одни только женщины... В брюках все. Или в джинсах. Ни одной в юбке нет. И лица у всех серые, невыспавшиеся, озабоченные. Где, где они, яркие, в себе уверенные, о которых в книжках пишут да фильмы снимают? Зачем о них вообще писать и снимать, если у них и без того все в жизни ярко? Да и сколько их всего, этих ярких, если сопоставить их со всей серо существующей женской массой? Одна на тысячу? На миллион?

Соня любила задавать себе такие вот дурацкие вопросы. Словно была в ответе за них, за серых и невыспавшихся. Да, она тоже была одной из них, но... будто со стороны наблюдала. Будто происходила вся эта трудная, иногда безысходная,

безденежная, в утреннем транспорте раздавленная жизнь где-то рядом, а она наблюдала за ней сверху, никак от нее не страдая и в ней точно так же будто не бултыхаясь. Будто дал ей кто свыше некие полномочия – наблюдать и жалеть. И не участвовать. Правильно про нее Томочка говорит – нелюдимка...

Подошедший автобус нехотя сложил гармошку дверей, нагло предоставив взорам страждущих спины тех, кто с трудом успел влезть в него на предыдущей остановке. Народ в едином порыве вздохнул разочарованно, некоторые, особо отчаявшиеся, даже попробовали эти спины потрамбовать, но безуспешно. Спины, то есть люди, конечно, огрызались довольно-таки злобно, будто место, ими занятое, давало им некое сомнительное превосходство над теми, кто остался там, внизу, на заплеванном асфальте остановки. Одна женщина, Соня видела, даже чуть не расплакалась, махнув рукой безнадежно. Бедная. Наверное, у нее начальник-деспот, будет ругать за опоздание...

У Сони, слава богу, начальник был не деспот. Вернее, начальница. Лидия Петровна Платонова. Может, возраст ей не позволял быть деспотичной, а может, страх увольнения. А что вы хотите? Шестьдесят пять лет для женщины-чиновницы – возраст очень даже критический! Ни на что не посмотрят – ни на былые заслуги на ниве народного образования, ни на неприкрытые пенсией жизненные потребности... Это раньше, говорят, одна только ее фамилия в Министерстве образования страх наводила, а теперь... Приткнули бедную женщину после всех сокращений да пересмотров штатных расписаний на самую скромную должность – начальником так называемого общего отдела. Вот и командует теперь курьерами, секретарями да делопроизводителями. И ею, стало быть, Соней, тоже. Ее должность архивариуса тоже к знаменателю «общая» отнесли. А что – так оно и есть, наверное. Звучит, конечно, красиво – архивариус. А на самом деле обыкновенная бумажная работа, нисколько и не творческая даже...

После школы Соня непременно решила поступать в университет, на отделение архивоведения. Представлялась ей ее будущая работа по специальности очень романтической – среди древних фолиантов да старинных рукописей. Это же так увлекательно! Правда, учиться она могла только на вечернем отделении – надо же было работать, не садиться же еще на пять лет Томочке на шею! Вот тогда она и попала на это место – старушка-соседка за нее походатайствовала, у нее в Министерстве образования дочка работала. Соня очень удивилась, конечно, для чего в Министерстве образования такую красивую должность держат – архивариус? А потом поняла, что ничего красивого и увлекательного в этой

работе нет. Архивы – они разные бывают. Никаких фолиантов и старинных рукописей в Министерстве образования и в помине не было, а были толстые и пыльные папки с завязками, стоящие на грубо сколоченных деревянных полках в подвале. И пахло от этих папок плесневелой бумажной сыростью, и внутри папок тоже ничего интересного не было, кроме коротких приказных текстов – принять-уволить-перевести... Она поначалу так разочаровалась, что даже университет после второго курса бросила. Потом, правда, Томочка заставила ее восстановиться – нечего, мол, высшим образованием разбрасываться. Может, пригодится еще, жизнь-то длинная. Так и переходила она с курса на курс, будто нехотя. И даже экзамены сдавала на «отлично». Учеба ей всегда легко давалась. Если бы не ее нелюдимый характер, то и школьную золотую медаль могла бы получить запросто...

– Опаздываешь, Сонюшка? – подняла на нее глаза Лидия Петровна и улыбнулась кротко, будто извинилась за невольное замечание.

– Ага... – покивала головой Соня, стряхивая дождевые капли с зонта. – Мне ж теперь с другого конца города приходится добираться...

– Ой, и правда! – обрадовалась такому простому объяснению Лидия Петровна. – Я и забыла, что ты у нас теперь девушка со своей жилплощадью! Завидная невеста, значит! Жениха-то загадала на сон?

– Как это – на сон? – удивленно повернулась к ней Соня.

– Ну, знаешь, как говорят... Сплю, мол, на новом месте, приснишь жених невесте...

– Ой, да ерунда все это! – встряла в их короткий диалог молоденькая делопроизводитель Света. – Чего его во сне-то загадывать, жениха этого? Надо его в жизни искать, шевелиться как-то, посматривать направо-налево! А то можно всю оставшуюся жизнь проспять да прозагадывать...

– Да, уж ты у нас своего не упустишь! Уж ты пошевелишься! – насмешливо проговорила Лидия Петровна, строго взглянув в ее сторону. – У тебя и работы ничуть на уме нет, одни женихи только!

– А то! Что я, по-вашему, веки вечные буду сидеть тут да бумажки по кучкам раскладывать? Нет уж, спасибо... Эх, да если б у меня своя собственная хата была, да я бы... Не понимаешь ты, Соня, своего счастья!

– Ну, раз ты так хорошо его понимаешь, так давай, помоги Сонечке! Возьми да познакомь ее с приличным каким молодым человеком! Она ж сама сроду не сможет...

– А что? Это можно... – оценивающе начала разглядывать Соню Света. – Если только ей вид товарный придать... Хорошая идея, между прочим... Вот я недавно на одну тусовку попала, так там такая же история вышла. Привели, значит, телку одну – ну прямо без слез не взглянешь...

– Света! Выбирай выражения! Ты не на рынке находишься! – одернула ее, сердито поморщившись, Лидия Петровна. И тихо проговорила про себя, так, чтоб слышала одна Соня: – Господи, и кого набрали... Ужас... Ужас...

– Так вы ж сами начали! – обиженно протянула Света. – Чего ругаетесь-то?

– Ладно, все, девочки! Поговорили, и будет! Работать пора! Сонечка, тебя там, кстати, посетительница ждет... Поторопись...

Посетительницей оказалась маленькая скромная женщина интеллигентного вида – наверняка учительница из сельской местности. Увидев Соню, она улыбнулась как-то очень уж просительно, будто сама за себя извиняясь. И Соня, пока торопливо открывала ключом дверь, тоже улыбалась ей, будто извиняясь. С ней-то понятно – она ж на работу опоздала, заставила человека себя ждать, а вот отчего эта женщина так неловко себя чувствует? Наверняка ведь за справкой какой-то пришла, не просто так...

– Понимаете, у меня со стажем ерунда какая-то получилась, пенсия очень маленькая... Наверное, в свое время мне стаж в сельской школе не учли? Теперь вот справку требуют... – торопливой скороговоркой проговорила она, присев перед Сониным столом на краешек стула. – Неловко вас, конечно, беспокоить, но...

– Отчего ж неловко? – улыбнулась ей Соня как можно доброжелательнее. – Сейчас все найдем и справку дадим... Не волнуйтесь, пожалуйста! В каком году

и в какой школе стаж ваш потерялся, вы можете сказать?

– Могу... Могу, конечно! – с готовностью проговорила женщина, чуть подпрыгнув на краешке стула. – Спасибо вам огромное, девушка!

Вот за что, скажите на милость, она ее так благодарит? Откуда у них, у провинциальных учительниц, такая болезненная робость перед чиновниками? Ведь наверняка хорошая она учительница, и всю свою сознательную жизнь в школе проторчала, зарабатывая нелегкий свой хлеб. И глаза у нее – прям бездонные от скопившейся в них грустной мудрости. Удивительные глаза – умные, добрые, в мелкой сеточке морщинок, только перепуганные очень. Да еще и со стажем ее сволочь какая-то надула. А она – все «простите» да «извините»... А сколько их еще, таких вот, неприкаянно извиняющихся и без вины виноватых, живущих в тени тех самых ярких и уверенных в себе, о которых книжки пишут да фильмы снимают? Оно и понятно – о таких, наверное, и писать, и снимать приятнее. Чего в скромную эту перепуганность заглядывать – яркого эффекту от этого не получишь... Эх, если б она, Соня, была писательницей или режиссером! Уж она бы обязательно туда залезла, уж покопалась бы, уж показала, какие в обманной этой серости яркие цветы цветут... Жаль, что никогда ей писательницей не стать. Хотя... Попробовать можно. Так, для самой себя. Зря, что ли, она за жизнью будто со стороны наблюдает, в ней никак не участвуя? Пропускает ее через сердце, искренне жалея таких вот тетенок, неярких и в себе неуверенных?

– Давайте мы с вами так поступим... как вас зовут? – снова улыбнулась она просительнице.

– Людмила Васильевна! – опять с готовностью чуть подпрыгнула на стуле учительница и посмотрела ей в глаза преданно. – Людмила Васильевна Иванова!

– Вы, Людмила Васильевна, погуляйте по городу часика полтора, а я тем временем все архивы подниму, справку вам приготовлю в самом лучшем виде... Хорошо?

– Ой, спасибо вам, девушка... Какая вы добрая... Спасибо... А вы какие конфетки любите? Я вам конфетки к чаю куплю! Или, может, тортик?

– Господи, да зачем, Людмила Васильевна! И не вздумайте даже! Чего ж вы так... Это же моя работа, я за нее зарплату получаю! Давайте ваши документы...

– Нет, но все же... Это же очень для меня важная справка... – виновато-благодарно проговорила женщина, доставая из сумки паспорт и трудовую книжку.

– Конечно, важная. Я понимаю, что важная. Я сделаю, не волнуйтесь.

– Так как же не волноваться, миленькая моя? Вот моя соседка, например, недавно в свою контору обратилась за такой справкой, и два месяца потом за ней ходила... А на нее все девчонки молоденькие фыркали – получаете, мол, свою пенсию, и радуйтесь...

– Нет. Я фыркать не буду. Я сделаю. Я прямо сейчас начну ваши документы искать.

– ...Вы тоже молоденькая еще, вы не понимаете, что значит на мизерную пенсию жить! – будто не слушая ее, продолжала говорить женщина. – Спасибо вам, добрая девушка! Спасибо, что не отказали! А конфетки я вам все же куплю... Через полтора часа значит?

Соня только вздохнула грустно ей в спину. Подумалось ей – и она с годами такая же вот будет... неприкаянно-безответная. Посидит в своем сыром архивном подвале, глядя на мелькающие в маленьком окошке ноги торопящихся мимо прохожих, и превратится в такую же тетеньку – «извините-простите»... Хотя на сегодняшний день, если честно, она к своему подвалу особых претензий не имела. Привыкла к рабочему одиночеству. В нем, в одиночестве, кстати, свои большие плюсы имелись – никто над душой у нее не стоял. Не хочешь изображать рабочее рвение – не изображай. Можно вообще книжку достать да почитать, можно кофе сварить на припрятанной за стеллажами плитке... Да мало ли чего еще можно натворить в одиночестве! Можно, например, подумать о чем-нибудь, можно в себя заглянуть... А что – там очень даже интересно бывает! В себе. И хорошо. Так уж она устроена, что с этим сделаешь.

Хотя Томочка ее за эту непонятную «устроенность» все время поругивала. И даже рассказывала, как в малолетстве ее из детского сада выгоняли. Причем неоднократно. Воспитательницы говорили – домашняя она, необщительная.

Сядет в уголочке и прижмется там, и сидит целый день, наблюдает за другими детьми, как они шумят, кричат, возятся. А дети таких не любят. Вот и доставалось Соне по полной программе – то с синяком домой придет, то с шишкой на лбу. Советовали даже врачам ее показать на предмет всяких детских комплексов. А мама ее по врачам не повела. Сказала, что дочка у нее совершенно нормальная, и даже наоборот, очень выгодно от других детей отличается. Просто у нее душа хоть и маленькая, но уже особенная. Тонко чувствующая. А врачам – им что, им бы только диагноз побыстрее ребенку определить, клеймо свое медицинское поставить. В общем, плюнула мама на все советы и поступила по-своему, то есть читать Соню научила – ей еще и пяти лет тогда не исполнилось. Как Томочка говорит – на свою голову. Потому что с тех пор Соня вообще будто из домашней жизни исчезла. Есть ребенок, и нет ребенка. И все вроде бы хорошо шло, пока Соня в школу не пошла... Там, конечно, у нее посуровее испытания начались, там уже в уголке да в одиночку не отсидишься. Одноклассники заклюют. Надо было определяться как-то. Вот она и определилась в компанию таких же, как она, добрых тихушниц. На правах подружки. Хотя никакой дружбой там и не пахло – скучновато было. Нет, они хорошие были все девочки, конечно, но... книжек совсем не читали. Судили-рядили обо всем помаленьку, как маленькие старушки, да о более смелых одноклассницах друг другу на ушко сплетничали. Если б не Викины друзья, которые в дом толпами валили, так бы Соня и не общалась ни с кем. Не умела она этого – общаться. Может, и хотела бы, как все, да не умела. Уставала от слов, от эмоций, от необходимости долго держать нужное «общибельное» выражение на лице... В одиночестве ей комфортнее было. Хотя и не всегда...

Бывали, бывали времена, когда ее легкое и уютное одиночество вдруг превращалось в муку мученическую, ни с того ни с сего, главное. Засыпала с одним одиночеством, а просыпалась уже с другим – с болезненным, тяжелым, слезливым. Поначалу она пугалась его, этого нового одиночества, а потом ничего, привыкала, ждала терпеливо – пройдет же оно когда-нибудь... Наверное, со всеми так бывает – каждый человек внутри себя несколько одиноков. Только у одних этого одиночества совсем чуть-чуть, а у других – много. На улице она часто, может, даже слишком часто встречала таких вот, себе подобных. Многие ходили с наушниками, отдаваясь неизвестно какой музыке, многие в небо смотрели да улыбались чуть придурковато, а многие сосредоточенно смотрели вперед себя, натыкались на прохожих, блестели пустыми глазами. На самом деле они вовсе и не пустыми были, Соня это определено знала. Там, если изнутри заглянуть, они очень даже красивые, эти глаза. И очень живые. Просто большое внутреннее человеческое одиночество, оно такое ранимое и немного испуганное, и любит внешним пустым взглядом от всех зашориваться. А

однажды она даже разговор на эту тему затеяла с Викиным приятелем, который на психолога в платном институте учился. С чего они на эту щекотливую тему беседовать взялись – Соня уже и не помнила. Хотя если б знала, чем этот разговор закончится, то и не ввязалась бы, конечно...

С парнем этим Вика в кафе познакомилась. Хороший такой парень. Игнатом его звали. На Алешу Карамазова был похож. И глаза у него были Алешины – умные, пронзительные, чуть наивные. В гости домой к ним несколько раз приходил. Соне даже в какой-то момент показалось – вот он, тот самый... Нет, она в него не влюбилась, конечно. Да и мысли у нее такой не было, чтоб влюбиться. Просто он ей понравился. Взяла и однажды открылась ему душой нараспашку, разговорилась вдруг, будто черт ее понес. Все ему про себя рассказала. То есть про взлеты и падения своего одиночества, про то, как хорошо бывает там, на взлете, и как плохо бывает внизу, в слезно-черной пропасти...

Он слушал ее очень внимательно. И головой покачивал. И вид у него был такой... понимающий. Очень дружеский был у него вид. И даже в какой-то момент показалось ей, что он скажет – а знаешь, мол, со мной часто происходит то же самое...

Ничего он такого ей потом не сказал. Все вышло совсем наоборот. Взял и обозвал ее этот психолог-недоучка Игнат циклоидом. Так и сказал – ты, Соня, типичный и пресловутый циклоид, и не более того. Тебя, говорит, с детства лечить надо было. А потом еще и добавил, помолчав:

– Да ты не переживай так, Сонь! Ты ж не одна такая! Я тебя уверяю, что среди нас каждый второй – тайный шизоид... Все люди больные! Только каждый человек по-своему. А здоровые – это те, кто ни разу на прием к психиатру не сходил. Так что...

Соню тогда от его слов будто током пробило. Хорошо, что Томочка в этот момент из кухни выглянула и того психолога на место поставила. Не обзывайся, мол. Без тебя, говорит, разберемся. Но при этом и свой вердикт успела вынести – ей, говорит, просто мужикашка хороший для здоровья надобен, вот и все дела...

Что ж, если уж совсем быть честной, то в тайности, где-то внутри себя, Соня насчет «мужикашки» и не возражала. Более того – иногда о нем и мечтала даже. О своем. Об особенном. Который тоже глазами вовнутрь живет. Который тоже

книжки читать любит. Особенно – классику. Пусть он будет некрасивый, небогатый... Ну вот скажите – если мужчина любит захлеб читать классику, зачем ему вообще нужны красота и богатство? Вовсе и не нужны. Вот зря она, когда с сестрами в детстве в «царицу» играла, себе такого «царя» не заказала! Вика вон заказала красивого да богатого и получила...

После того разговора с Игнатом Соня решила больше таких экспериментов над собой не проводить. Зачем? Лучше уж все свое внутреннее устройство-хозяйство при себе держать. Не такое оно и плохое. Чего уж природу гневить. Что есть, и на том спасибо...

– Эй, Сонь... – вздрогнула она от Светиноного голоса, прозвучавшего над самым ухом. – Ты чего опять задумалась? Обедать пойдём?

– А что, уже обед? – всполошилась Соня. – Ничего себе, как быстро время прошло...

– А что это у тебя тут, под бумагами?

– Где?

– Да вот... Смотри – коробка конфет лежит...

– Что?! О, господи... Все-таки умудрилась она мне эти конфеты подсунуть... – всплеснула руками Соня, вспомнив утреннюю свою посетительницу. – Вот же какая, а? Ну что ж, Светка, давай тогда чай вместо обеда пить будем... Все равно у меня на обед денег нет...

– Так зарплата же вчера была!

– Ну и что, что была! У меня теперь затрат много. Надо вечером в хозяйственный зайти, купить там кое-чего.

– Это в новую квартиру, да? Счастливая ты, Сонька... Слушай, так давай я тебя и впрямь с кем-нибудь познакомлю! А то обидно же – хата есть, а мужика в ней нету...

- Да ну тебя, Свет. Какой мужик...

- Обыкновенный, какой! Иль ты ждешь, что он сам по себе появится? Возьмет и с неба свалится, да? Как в книжках? Так не надейся, не свалится. Мужика нынче завоевывать надо, на охоту за ним ходить. А ты вон какая... далеко не красавица. Да и одеваешься кое-как...

- Ну и пусть. Не пойду я ни на какую охоту. Не хочу.

- Ой, да ладно тебе! Обиделась, что ли? Я ж тоже, смотри, не красавица, но кое-какие наработки в этой области уже имею. По клубам хожу, в тусовках всяких бываю. Не в крутых, конечно, но тоже не так себе. И вообще, в приличных местах много хороших мужиков водится. Вот скажи, ты в приличных местах бывала?

- Нет. Не бывала.

- Ну, а когда в последний раз на дискотеке отрывалась? Или в клубе каком?

- Отстань, а? Не хожу я ни в какой клуб...

- Нет, ну это ты зря! Надо ходить, Соня. Это сейчас даже неприлично, между прочим, - в клубах не тусоваться.

- Неприлично?! - удивленно подняла глаза Соня.

- Конечно, неприлично! Ну что, убедила я тебя? Тогда вечером готовься - пойдём из тебя нормального человека делать.

- Нет, Свет, - покачала головой Соня. - Не надо. Я уж как-нибудь в неприличных и ненормальных проживу. Спасибо.

- Опять обиделась... Ну чего ты тормозишь, Сонь? Вроде со стороны посмотришь - на лохушку ты не похожа... Умная такая и не уродка... Только неухоженная совсем. За собой ни фигу не следишь.

- Прекрати, Свет. Мне этот разговор неприятен.

– О! Я ж говорю – не лохушка! Ишь, как выражаться-то красиво умеешь – разговор неприятен... А только все равно я с тебя не слезу, дорогая, ты ж меня знаешь! Если уж какая идея забредет ко мне в голову... Все, сегодня идешь со мной тусоваться!

Это была чистая правда – делопроизводитель Света была упорной до крайнего занудства. Тем более она почему-то сразу, как устроилась к ним на службу, присвоила себе роль Сониной подруги-покровительницы и исполняла эту роль с завидным удовольствием. С некоторым рвением даже. Соня уже давно усвоила правила дружбы, Светой навязанные, которые сама Света однажды немного цинично определила – я, мол, по характеру, как тот противный мужик-зануда, которому лучше дать, чем объяснять, что ты не хочешь...

– Свет... Давай не сегодня, а? Давай в другой раз? – попробовала выторговать себе Соня некую отсрочку от навязанной дружбы. – Сегодня я никак не могу...

– Так... Так... – похлопывая пальцем по губам, обошла вокруг стола Света, со всех сторон ее оглядывая. – Ну, прическу я тебе, допустим, сама наверчу... И макияж сделаю, у меня косметики с собой – целый вагон... А вот с прикидом что будем делать? Вот смотрю на тебя, Сонька, и такое впечатление складывается, что ты, кроме джинсов да водолазок, другой одежды не знаешь... Да и та из секонд-хенда...

– Свет, ты не слышишь меня, что ли? В другой раз, говорю...

– А мы с тобой вот что, пожалуй, сделаем, подруга! – словно и впрямь ее не слыша, задумчиво проворковала Света. – Я, так и быть, надену твою водолазку, а ты – мою кофточку. Сойдет на контрасте. У меня юбка короткая, туфли на шпильках, так что водолазка твоя замызганная вида моего не попортит. Ну, может, чуть-чуть только... А к твоим джинсам моя кофточка как раз подойдет...

– Нет, я это ни за что не надену! Ты что? – испуганно выставила Соня палец в глубокий разрез прозрачно-легкомысленной Светиной кофточки-разлетайки. – Я вообще такое носить не умею! Тем более на мне лифчик черный!

– Так это же самый кайф, что он черный, глупая! Сейчас это как раз модно! Ну все, так и порешаем... Я в конце дня к тебе заскочу, приведу тебя в божеский вид, и рванем! А сейчас давай свой чай с конфетами, все равно уже не успею

пообедать... Да не трясись ты так, глупая! У нас в тусовке как раз один пацан есть, он в институте культуры учится. Культурный такой – страсть! Как раз то, что тебе надо! Правда, ты для него старовата... Так это опять же модно сейчас, чтобы баба постарше была...

Заглянувшая к ним с бумагами Лидия Петровна идею вывода Сони в свет тоже активно поддержала. И даже дала Соне некоторые напутствия – не сиди, мол, в уголке скромно, а танцуй, общайся...

– Да нет там уголков, Лидия Петровна. Какие уголки? Я ж ее не на танцы поведу... – саркастически улыбнулась ей Света, явно чувствуя в этом вопросе свое превосходство.

– А куда ты ее поведешь? – недоуменно заморгала глазами пожилая женщина. – Сама же сказала – в клуб...

Света, глянув мельком на Соню, приснула тихонько в кулачок, но тут же быстро взяла себя в руки – негоже, мол, перед начальницей выпендриваться. Потом, подмигнув Соне, встала из-за стола:

– Ну ладно, пойду работать... А ты, подруга, давай морально готовься! Настраивай организм на удовольствия...

Место, куда привела ее Света, ошарашило Соню сразу. Похоже на булгаковский бал нечистой силы. Или на шабаш. От мелькания световых бликов, идущих от огромных зеркальных шаров над головами танцующих, сразу закружилась голова, и монотонная громкая музыка цепко впилась в мозги, словно ждала, что они вот-вот взорвутся отторжением этих мучительно повторяющихся электронных звуков. Соня вдруг увидела себя в большом зеркале и не узнала. Испуганная, с колтуном взбитых надо лбом волос, щедро залитых Светиным лаком, с ярким макияжем, в дурацкой прозрачной кофточке... Захотелось тут же рвануть к выходу, унося ноги куда подальше от собственного отражения, но Света крепко держала ее за руку, шагая уверенно по залу и приветственно помахивая ладошкой расположившейся на диванах вокруг маленького столика компании:

– Эй, братва, привет! А вот и мы... Познакомьтесь, это Сонька! Бобка, слышь, тебе говорю? Смотри, это Сонька... Пусть она с тобой рядом сядет! – визгливо

старалась перекричать она бьющую по ушам музыку, потом, протолкнув Соню к тому самому Бобке, успела прошептать ей в ухо: – Это тот, про которого я тебе говорила... Из института культуры...

Музыка на минуту смолкла, и парень, повернув голову к Соне, внимательно осмотрел ее в профиль, будто приценился – брать, не брать... Потом проговорил дружелюбно:

– Вообще-то я Боб. Это только Светка меня Бобкой зовет. Что с нее возьмешь – дура...

– А это у вас настоящее имя такое? – осторожно заглянула ему в лицо Соня. Лицо и впрямь было хорошим – глаза живые, улыбочивые, весело-любопытные.

– А мы что, будем на «вы»? – дурашливо-кокетливо передразнил ее парень, рассмеявшись. И добавил скороговоркой, пытаясь опередить первые раскаты наплывающего откуда-то нового приступа музыки: – Будь проще, Соня! Расслабься! Вникни в реальность! Пойдем лучше танцевать...

Не дождавшись ее согласия, он по-хозяйски зажал ее пальцы в ладонь, сдернул с диванчика. И ладонь, надо сказать, у него тоже была приятная – горячая и уютная. Вот только танцевать Соне вовсе не хотелось, но Боб уже тащил ее в самую гущу расслабляющейся и уже, судя по всему, вникшей в существующую реальность толпы. Странная это была реальность. Она бы, наоборот, назвала происходящее вокруг нее абсолютной нереальностью – в мигающих вспышках фантастического, болезненно-белесого света всплывали перед ней потновосторженные, блестящие испариной лица, голые пупки, взлетающие туда-сюда веером волосы. А вот одна парочка забралась на небольшую тумбу, изображая непристойными телодвижениями полный экстаз. Наверное, это так надо? Наверное, есть в этом во всем тайный какой-то смысл? Неосознанный сброс дурной энергии, может быть... Ей даже представилось на секунду, как эта дурная энергия летит с разгоряченных молодых тел на пол, и они топчут ее в едином порыве ногами... Неожиданно для себя она тоже почувствовала некую непонятную дрожь, идущую изнутри собственного организма, и тело само по себе начало производить какие-то движения – закачалось бедрами, взметнулось вверх руками, чуть прогнулось назад в талии. В голове не было ни одной мысли – ни плохой, ни хорошей. Пустота, заполненная до отказа уничтожающим однообразным ритмом. Наверное, так тоже надо. Наверное, именно так тело справляет свой физиологический праздник...

Потом они вернулись на место – разгоряченные, покрасневшие. Боб уже по-хозяйски расположил свою руку на Сонином плече, заглядывал в глаза, кричал ей что-то на ухо. Она разводила руками – не слышу, мол... Потом кто-то поставил перед ней высокий стакан с коктейлем, и она глотнула через соломинку. Холодная сладко-терпкая жидкость обожгла горло, тягуче растеклась по желудку – стало вдруг страшно весело, бесшабашно, будто открылся ей другой мир и позвал в себя, шаловливо и укоризненно грозя пальцем – видишь, мол, как со мной хорошо... А ты все сторонишься меня, ходишь вокруг да около. Давай дружить! Вот коктейль, вот люди кругом веселые, вот руки мужские тебя обнимают все настойчивее...

Холодный коктейль вытянулся через соломинку удивительно быстро. Боб весело округлил глаза, глядя на ее пустой стакан, потом выставил вперед большой палец – молодец, мол. Махнув пробегающей мимо девчонке официантке в короткой клетчатой юбочке под «нас не догонят», проговорил ей что-то на ухо, и тут же перед Соней вырос второй стакан – запотевший, приятно-холодный, с трогательной лимонной долькой, прицепившейся к широкому ободку. Надув губы, Соня потянулась к соломинке, но она все ускользала от нее шаловливо, и обстоятельство это очень почему-то ее сместило, и Боба тоже сместило, и странное было ощущение легкости и веселья, и музыка уже не была по нервам, а пульсировала в них горячо и приятно. Другой мир старался вовсю, чтоб ей понравиться. Зря, зря она его боялась...

Она и сама не заметила, как стала целоваться. Кругом происходила какая-то жизнь – кто-то над самым ухом громко смеялся, кто-то что-то говорил, стараясь визгливо перекричать музыку, иногда она слышала и Светин голосок, обильно сдобренный матом – ей было все равно. Ей было ужасно хорошо сидеть и целоваться. И ощущать дрожащую мужскую руку меж своих колен, и чувствовать в себе нарастающее напряжение...

– Ну что, сваливаем отсюда? – горячо прошептал Соне в ухо Боб.

– Сваливаем! – пьяненько и решительно тряхнула головой Соня.

– К тебе поедем?

– Поедем! – снова решительно мотнулась голова, отчего Соне стало ужасно смешно. Как, оказывается, в этом мире жить-то просто! Как хорошо! А она и не

подозревала...

Уличная вечерняя тишина будто оглушила. Редкие капли дождя упали на лицо, и она размазала их по щекам, как набежавшие слезы. Подул ветер, прошел мимо сырой холодной и надменной тенью, будто усмехнувшись – ну-ну... Посмотрим, что дальше с тобой будет, матушка... Соня поежилась, обхватила себя руками, стала смотреть, как суетится у обочины тротуара Боб, голосуя мчащимся мимо машинам. Наконец одна из них остановилась, приняла их в свое нутро. Соня автоматически назвала адрес. Странно, но прежней радости отчего-то не было. Она снова провела по лицу руками, будто просыпаясь. Господи, что это было? А главное – что будет...

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tn.knigapoisk.com/kolochkova_vera/tri-caricy-pod-oknom

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)